

18+ Евгений Аро

# КРИСТИАН ГРЕЙВС

*Роман о свободе, любви  
и цене человеческого достоинства*

Евгений Аро  
**Кристиан Грейвс**

«Издательские решения»

## **Аро Е.**

Кристиан Грейвс / Е. Аро — «Издательские решения»,

«Кристиан Грейвс» является первой масштабной прозаической работой автора, выпущенной в свет. В своей дебютной книге писатель обращается к сложным психологическим и нравственным темам, выдерживая строгий, выверенный и классический стиль повествования.

© Аро Е.

© Издательские решения

# Содержание

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Глава 1                           | 6  |
| Глава 2                           | 9  |
| Глава 3                           | 13 |
| Глава 4                           | 18 |
| Глава 5                           | 20 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 24 |

# Кристиан Грейвс

## Евгений Аро

© Евгений Аро, 2026

ISBN 978-5-0071-4777-4

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Любая вера — будь то рабское преклонение перед Богом, малодушный трепет перед дьяволом или слепое упование на капризы Судьбы — всегда казалась мне лишь бессмысленной, расточительной тратой ментальных сил и человеческого разума. Человеческий ум по природе своей бесчисленно многогранен; он не способен и не должен ограничиваться узкими рамками одного-единственного знания. Способы же познания этих бездонных граней определяются, увы, всего лишь каплей хладнокровного благоразумия в бескрайнем, ревущем океане вселенского безумия. Для них же — для тех, кто запер себя в золоченых клетках своих иллюзий, — всё, разумеется, выглядит с точностью до наоборот. Они возводят свое неведение в ранг святости, а фальшивый блеск принимают за чистый свет. Но кто я такой, чтобы судить, чей горизонт шире, а у кого сознание сужено до размеров гробовой доски или монетного двора? Моя исповедь не ищет сочувствия и не обязывает вас доверяться мне. В конце концов, золото уходит сквозь пальцы, как песок, оставляя человека наедине с холодной вечностью. И в ваших глазах я — всего лишь Слово. Не более.

Е. Аро.

## Глава 1

Я знаю, что значит настоящая нищета. Эта склизкая, грязная, смердящая бедность, которая заживо сдирает с тебя кожу, душит костлявыми пальцами и пытается голодом. Но в этой изощренной жестокости судьбы скрывается один упоительный плюс — неповторимый, священный творческий надрыв. Когда тленному телу абсолютно нечего есть, когда желудок в самом буквальном смысле прилипает к позвоночнику, а ребра выпирают так мучительно остро, что кажется, будто из-за этой грудной клетки, как из-за железной тюремной решетки, вот-вот выглянет бледный заключенный. В этот самый миг свой триумфальный ход делает душа. Отторгнутая миром, ожесточенная, она расправляет крылья, питаясь презрением общества и той безумной, изнуряющей тоской, что ведома лишь обреченным.

В таком лихорадочном, полубезумном надрыве я и написал свой главный роман — «Сотни рук», выплеснув на бумагу весь крах и всю агонию собственного ментального здоровья. Я не ждал рукоплесканий, не надеялся на успех — его, в сущности, и не случилось. Посредственные литературные издания моего города, эти сытые лавки тщеславия, не удосужились даже раскрыть рукопись, прежде чем с презрительным смешком швырнуть ее мне в лицо. Меня это огорчало не меньше, чем смерть самого близкого существа.

Потерю матери я пережил еще десять лет назад. Мрачная, иссохшая женщина, она не питала ни малейшего интереса к моему земному существованию. Мелочная злоба задушила в ней материнство, и она хладнокровно вышвырнула меня на улицу, едва мне исполнилось то ли пятнадцать, то ли шестнадцать лет. И все же я любил её той слепой, мученической любовью, какой любой искалеченный ребёнок вопреки здравому смыслу любит своего палача — родителя. Чего никак нельзя было сказать об отце — алкоголике, трусливо покинувшем нас двоих, когда мне едва исполнилось восемь. Из тумана детства я вынес лишь его прокуренный, хриплый голос и образ какого-то жалкого, нелепого существа. Но его последние слова, ставшие финальным аккордом его ничтожной жизни, прозвучали чище и благороднее всего, что он изрыгал из себя прежде. «Кристиан, мой милый, светлый мальчик... Пожалуйста, не забудь покормить Джесси.» В его угасающем голосе сквозило смертельное истощение, перемешанное с горьким, едва уловимым сарказмом и бледной, призрачной улыбкой на кончиках посиневших губ.

Джесси... Эта маленькая, трепетная рыжая собачка была единственным наследством, которое он притащил в наш дом, едва стоя на ногах от дешевого пойла. В тот памятный день он явился в оборванных, покрытых грязью джинсах, с ободранными в кровь руками, но улыбался точно так же, как и перед своим последним вздохом — торжествуя, предвкушая глухую ярость и удивление жены.

— Элеонора, слышишь? Погляди, чё я притащил, ха—ха! — в своей извечной развязной манере прокричал он с порога.

— Глядишь, станет моим единственным верным другом до конца дней. Его дней или моих — это уж ничуть не важно!

— Господи, что с тобой опять?.. — выбежав из чада кухни, испуганно и брезгливо прошептала мать, даже не взглянув на живой комок в его руках. Лишь много позже я осознал, какую лютою, противоестественной ненавистью она исходила ко всему живому.

— К кому ты вызываешь, Эл? К Господу или ко мне? — с чахоточным остроумием выкрикнул отец, оскалив желтые зубы. — Судя по беспросветной никчемности нашего бытия, Бог слишком давно покинул эту дыру и вряд ли услышит твой писк. А коль Его нет, значит...

— Хватит! Замолчи! — резко, срываясь на истерический визг, оборвала она его. — Я спросила тебя! Слышишь, тебя, скотина?! Что с твоими руками и что это за чудище ты приволок?!

Тесная прихожая, где еще минуту назад царил душный покой увядания, мгновенно превратилась в смрадное поле словесной битвы. Зажав уши ладонями, я сжался на колченогой табуретке, вжимаясь лопатками в шаткий шкаф с прогнившими ножками. С чистым детским непониманием и тихим ужасом я наблюдал за этими двумя ненавидящими друг друга существами, которые по какому-то страшному недоразумению природы именовались моими родителями. Хорошими или плохими? Я не знал. В те годы я вообще не ведал, где пролегает черта между добром и злом. Плохо — это когда тебя нещадно бьют тяжелым отцовским ремнем за упавшую на пол крошку сухого печенья? Но кому именно от этого плохо? Мне, чья плоть горит от ударов, или кожаному ремню, который терзают о мою спину? Может быть, ремню в этот момент как раз хорошо? Ведь его — то самого не бьют, а бьют — им!

Кажется, эти зловещие, абсурдные вопросы были совсем не для неокрепшего ума пятилетнего мальчика, вынужденного созерцать яростную грызню взрослых, уподобившихся диким зверям. Хотя, сравнивать человека — это горделивое творение, эту ошибку мироздания с невинностью и абсолютной преданностью животного — было бы святотатством. Все равно что шмоток засохшей, зловонной грязи с сапог моего отца сравнить с чистейшим лепестком пунцовой розы, увядающей на кухонном окне.

Переводя испуганный взгляд с грубого, заросшего щетиной и изрезанного порочными морщинами лица отца на искаженное злобой, но некогда приятное лицо матери — смотря по тому, кто из них в данную секунду изрыгал очередное проклятие, — я вдруг заметил тусклый, поглощенный первобытным ужасом взгляд щенка.

Маленькое существо забилося в пыльный угол посреди двух беснующихся исполинов. Одинокая голая лампа под потолком безжалостно освещала его беззащитную рыжую мордочку с белыми пятнами на носу, точно театральный софит, выхвативший из тьмы главного героя этой трагедии. Будучи столь юным, я не мог охватить умом всю глубину и опустошение этих собачьих глаз. Страх парализовал щенка. И казалось, этот пес понимал фатальность происходящего намного лучше меня. Он обреченно вздрагивал при каждом яростном взмахе человеческих рук, пока я, оцепенев, перебирал пальцы у гнилого шкафа.

В какой-то момент старая мебель пошатнулась от моего судорожного напора, и внутри, за закрытыми дверцами, с глухим, гробовым стуком упало что-то тяжелое. Этот внезапный звук ворвался в их крик, заставив родителей подавиться собственными словами. В прихожей воцарилось тяжелое, вакуумное безмолвие. Спустя вечность, жалостно и тяжело выдохнув, отец посмотрел на меня мертвыми, воспаленными глазами. — Это девочка, Кристиан. Ее зовут Джесси, — тихо, с надрывной хрипотой в голосе произнес он. И, повернув голову к щенку, но продолжая говорить, как бы со мной, прошептал: — На нее напали у самого поворота к нашему проклятому дому. Псы... Огромные твари, втрое больше ее самой. Окружили, словно гиены, зажали в кольцо всей своей бесчувственной, безжалостной шайкой. Прямо как у нас... у людей. Отец ненадолго замолчал, нахмутив кустистые брови, и, протянув ободранную руку к щенку, выдохнул: — Но теперь ты в безопасности, маленькая...

В этот миг я снова заглянул в глаза Джесси. И в их глубине блеснуло нечто такое, чего я больше никогда не встречал в людских взорах, дожив до своих скромных и безрадостных тридцати трех лет. Особенный, фосфорический блеск темных зрачков, отражавший чистую душу Джесси, напоминал мне хрупкие, искрящиеся снежинки, улавливающие свет одинокого уличного фонаря на фоне бездонного, черного неба. И какая-то древняя, недетская грусть сковала мое сердце. Тогда я впервые прикоснулся к этому чувству в своем неосознанном возрасте. Эта взрослая, всепоглощающая, парализующая тоска... Она раздражала, она резала меня где-то глубоко изнутри, под сердцем. словно та самая стая бродячих собак мгновенно переселилась в мою собственную грудную клетку. Пытаясь вырваться на волю из темницы моих ребер, эти невидимые монстры впились своими когтями и клыками в мою живую плоть. Я выглядел... да и был на самом деле — абсолютно беззащитным перед этим экзистенциальным

ужасом. Так же, как беззащитна была Джесси на грязном перекрестке в кольце безжалостной своры. Неужели это было справедливо? Разве в тех яростных псах не горела точно такая же искра жизни, зажженная Творцом? Может быть, это слепое, жестокое насилие мира сего и означает слово «плохо»? Мысли мои кружились безумным, хаотичным вихрем. Я истошно кричал внутри себя, но снаружи оставался безмолвным, точно каменное изваяние. Пытаясь удержать подступающие слезы, я с силой зажмурился до боли в веках и низко опустил голову к коленям. Отец всегда вколачивал в меня истину, что плакать — это слабость, карая меня плетью за малейшую провинность. Но если так... получается, те привокзальные гиены, терзавшие щенка, тоже плакали внутри себя? Имело ли вообще хоть какой—то высший, Божественный смысл — это жестокое нападение? Я резко открыл глаза, чтобы вновь отыскать взглядом Джесси. Собака лежала, покорно опустив морду на худые передние лапы. Она неотрывно смотрела в грязный пол — в самую пустоту. Казалось, она, подобно великим философам прошлого, предавалась глубокому, чисто человеческому размышлению о фатальной несправедливости и вечной скорби этого подлунного мира.

## Глава 2

Я часто, мучительно часто вспоминаю тот страшный, роковой вечер. Именно тогда внутри маленького, беззащитного ребенка прежнее, наивное представление о мироздании перевернулось с ног до головы, разбившись, как хрупкий хрусталь о каменные плиты. С этим внутренним перерождением — или, вернее сказать, с этой неизлечимой раной в груди — я дожил, как уже упоминал, до своих тридцати трех лет. Сакральный, мистический возраст, рубеж, на котором иные спасают мир, я же — окончательно погребен под его обломками. Моих родителей давно уже нет на этой брэнной, проклятой земле, что несется сквозь ледяную космическую пустоту к абсолютному Ничто. Они ушли, оставив после себя лишь пепел обид. Джесси же прожила долгую, по собачьим меркам, жизнь. Никто из нас не знал, сколько она скиталась до того, как отец приволок ее в наш дом, но около девяти лет эта чистая душа была рядом со мной. И теперь, оборачиваясь назад, я с горькой легкостью могу признаться перед лицом Неба: ее смерть я пережил куда тяжелее, куда безутешнее, чем кончину матери и отца вместе взятых. В кончине людей была пугающая закономерность их пороков; в смерти собаки — космическая несправедливость, лишившая меня единственного источника безусловной любви. Поскольку я остался один на один со своей безжалостной судьбой, подносившей мне все новые и новые чаши с ядом, я все еще как-то жил. Я дышал. Но ежедневные, лихорадочные мысли о смерти никак не могли отлипнуть от моего воспаленного разума, словно густой, черный мед от серебряной чайной ложки. Это был не романтический зов небытия, а липкий, унижительный страх — страх издохнуть от нищеты. Заживо сгнить в этой грязной, темной комнатухе, похожей на склеп, с окном, выходящим на равнодушный и блестящий Вермонт. Мое жилище было истинным триумфом увядания. Время здесь словно застыло, покрывшись слоем серой, жирной пыли. Стены, оклеенные старыми, ободранными обоями неопределенного трупного цвета, казалось, сжимались под вечер, сдавливая мои виски. Кое-где из-под них клочьями торчала пожелтевшая газетная бумага — обрывки чьих-то чужих, давно забытых жизней и новостей вековой давности. В углу сиротливо ютился шаткий стол, заваленный исписанными листами, а над ним — пустая чернильница, похожая на разинутый в немом крике рот. Мне не хватало денег даже на самую грошовую свечу или керосиновую лампу, а потому с наступлением сумерек комната погружалась в злоеший полумрак. Моим единственным электричеством, моим даровым солнцем были далекие огни Вермонта. Они бесстыдно врывались сквозь немытое, треснувшее стекло, чертя на грязном полу бледные, фосфорические полосы. Этот призрачный свет неоновых вывесок и роскошных вилл богачей не согревал — он лишь подчеркивал убожество моего угла, глумливо напоминая о пире жизни, на который меня забыли пригласить. Писал я исключительно днем — по самым понятным, унижительным причинам материального толка. Вряд ли бы я осмелился назвать свои произведения свежими, спасительным глотком в задохнувшемся мире современной литературы. Нет, это было бы слишком дерзко. Мой роман — максимум скромный, истерический, чувственный порыв, душевный выкидыш, который сытые издатели даже не снисходят открыть. Куда мне, жалкому червю, до великого, неподражаемого и жестокого Лоренса Вейна! Философа-пессимиста, чей бессмертный трактат «Анатомия эгоизма» я выучил буквально наизусть, спасаясь им от одиночества. «Совесть — это лишь трусливый страх перед судом общества, возведенный глупцами в ранг божественного закона» — эти великие, леденящие слова когда-то до краев наполнили темную чашу моей души. Именно после них, осознав всю бездну человеческого лицемерия, я бесповоротно полюбил литературу. Литература стала моим зеркалом, в котором я надеялся увидеть лицо Бога, но находил лишь ухмылку дьявола.

Что я вообще такое? Кто я в этой гигантской человеческой давяльне? Лежа на своей продавленной, смердящей сыростью кушетке, словно в тесном деревянном гробу, я бессмысленно

смотрел в потолок, покрытый паутиной. Неужели я, сотворенный по образу и подобию Высшего Существа, не стою даже капли, даже мимолетного мгновения чужого внимания? Я ведь вот— вот сойду за мертвеца, и мир вокруг даже не вздрогнет. Получая нищенские, оскорбительные крохи выплат по психическому отклонению от безразличного государства, я не имею возможности купить себе даже куска нормального, не заплесневелого хлеба — что уж говорить о достойном человеческом жилье. Из-за моих ментальных недугов, из—за этой печати проклятия на моем челе меня не берут ни на одну работу. Общество брезгливо захлопывает передо мной двери, словно перед чумным. Темное, бездонное горе вновь озарило мое нутро — точно так же, как в тот памятный вечер моего детства. Я физически чувствовал это невыносимое, сухое жжение в груди, этот подступающий к горлу огонь, но ничем, абсолютно ничем не мог себе помочь. Я был заживо замурован в собственном бессилии. Я доподлинно знал, что я — абсолютное никто в этом огромном, яростно жужжащем улье. Самая горькая ирония моей сломанной жизни заключалась в одном: я свято, слепо верил в существование высшей, метафизической справедливости. Но эта справедливость в меня почему-то не верила. Она смотрела сквозь меня, как сквозь пустое место.

Я вздрогнул. Резкие, оглушающие удары в мою хлипкую дверь бесцеремонно выдернули меня из бездны мрачных воспоминаний. Стук был настолько яростным, что, казалось, дряхлое дерево вот-вот сойдет с петель и рухнет на пыльный пол, заставив содрогнуться всю мою убогую обитель и наглядно олицетворяя мое собственное шаткое, надломленное состояние.

— Ради всего святого, прекратите этот варварский грохот! — приподнявшись на кушетке, воскликнул я. В моем голосе звенела безумная, клокочущая злоба: меня посмели грубо потревожить во время моего сакрального странствия по лабиринтам памяти. Луна, в этот миг спрятавшись за тяжелым облаком, словно дьявол, укрывающийся в тайных потемках человеческих душ, больше не проникала в окно, и комната погрузилась во тьму. Я едва мог разглядеть собственные руки, дрожащие от пронизывающего холода. Зимние ночи в Вермонте, как мне кажется, самые леденящие на всем земном шаре. Они вымораживают не только бренок тело, но и то небольшое, что еще теплится внутри плоти современного человека, — хотя в наше циничное время там, признаться, не осталось почти ничего.

— Кристиан Грейвс, паршивец, сейчас же открой! Живо, кому говорю! — в ответ на мою мольбу донесся из—за двери резкий женский голос. Он пробирал до костей, раздражая слух, словно дребезжание дешевого будильника. Это была хозяйка дома, в чьем затхлом, разваливающемся пансионе я снимал эту загнивающую во всем своем пространстве каморку. Разумеется, старая ведьма пришла за деньгами. Эту ничтожную, но неподъемную для меня плату я обязан был внести еще четыре дня назад.

Поднявшись на ноги и огорченно, с глубоким отвращением выдохнув, я повернул ржавый ключ. Дверь распахнулась, и из темного коридора вперед женщины в комнату стремительно забежал колючий мороз. Хозяйка стояла на пороге. Ее сальные, растрепанные волосы торчали из—под полинялого платка, а от тучного тела несся стойкий, удушливый запах дешевого джина и прогорклого лука.

— Ну? И чё ты на этот раз мне наплетешь, а? — возбужденная собственной правотой и заранее упивающаяся ролью безвинной жертвы, просипела она, кривя рот в презрительной усмешке. — Даже не заикайся про свои дурацкие книжки, которые у тебя вот—вот якобы купят! На фиги мне не сдались твои басни, слышать ничего подобного не желаю! Ишь, писатели выискались! Умники хреновы, думают, карябают там чё—то на бумажках, так весь мир теперь вокруг них крутиться должен?

Я отступил на шаг вглубь комнаты, скрестив руки на груди. Моя осанка оставалась безупречной, несмотря на рванье, в которое я был облачен. Я посмотрел на нее сверху вниз с тем леденящим, абсолютным спокойствием, которое дарует человеку лишь крайняя степень отчаяния.

— Мой труд, миссис Бэггот, требует тишины, а не базарного крика, — произнес я, и мой голос прозвучал на удивление плавно, бархатно и тихо, контрастируя с ее визгом. — Мир, уверяю вас, не крутится вокруг литераторов. Он вообще ни вокруг чего не крутится, кроме человеческой глупости и жадности. Две эти силы единственные истинные двигатели вашей так называемой цивилизации.

Хозяйка опешила от моего тона, ее маленькие, заплывшие жиром глазки злобно сузились. Она шумно втянула носом холодный воздух и сделала шаг вперед, бесцеремонно вторгаясь в мое личное пространство.

— Ты мне тут зубы—то не заговаривай! Ишь, слова—то какие выковыривает, «двигатели», «цивилизации»... Ты мне бабки гони, философ недоделанный! Чего мне твоя тишина? Ей, что ль, мяснику платить? Или за уголь твоей тишиной швыряться? Четыре дня просрочки! Четыре! Я из—за тебя, тунеядца, сама в кабалу влезу. Люди вон в порту спины надрывают, уголь таскают, как положено нормальным мужикам, а этот... разлегся тут на кушетке, рожи корчит, думу думает! Тьфу! Да грош цена твоему уму, коли у тебя в кармане шаром покати!

— Как точно и как прискорбно вы сейчас выразили главную догму нашего века, — с легкой, едва заметной улыбкой ответил я, слегка склонив голову набок. — Вы измеряете ценность человеческого разума содержимым его кошелька. Какое восхитительное, первобытное мещанство! Скажите, миссис Бэггот, если бы к вам пришел сам уличный нищий, но с пригоршней золотых монет, украденных из церкви, вы бы сочли его добродетельным и почтенным гражданином?

— Да мне хоть сам черт лысый, пушай с золотом придет, я ему комнату сдам и руки расцелую! — вульгарно хохотнула она, сплюнув на пол прямо у моих ног. — Золото — оно и в Африке золото, не пахнет! А от твоих бредней только голова пухнет и толку ноль. Ты мне тут демагогию не разводи, умник. Ты думаешь, ежели ты книжки читал, так ты лучше меня, да? Выше, да? Да ты погляди на себя — кожа да кости, сумасшедший оборванец! Государство тебе вон подачки швыряет, как собаке кость, за то, что у тебя в башке винтиков не хватает, а ты еще нос воротишь!

Каждое ее слово было наполнено ядом и невежеством, но они не ранили меня. Напротив, они вызвали во мне холодное, почти научное любопытство, с каким энтомолог наблюдает за копошением навозного жука.

— Деньги, которые вы столь вульгарно требуете, — спокойно продолжал я, чеканя каждое слово, — безусловно, будут вам выплачены, как только казначейство переведет мое скромное пособие. Что же касается вашего утверждения, будто золото не пахнет... О, вы заблуждаетесь. Оно пахнет кровью и потом тех несчастных, из которых его выжали. Вы готовы целовать руки черту за пару монет? Что ж, поздравляю вас: вы уже делаете это каждый день, даже не замечая, как дьявол водит вас за нос, подменяя бессмертную душу куском крашеной бумаги.

— Да пошел ты со своей душой! — взвизгнула старая мегера, багровея от злости. Ее косноязычие становилось тем очевиднее, чем больше ее злил мой выверенный слог.

— Душой сыт не будешь! Чё ты мне тут про черта задвигаешь? Я женщина честная, в церковь по воскресеньям хожу, поняло ты, чучело? А вот ты точно с нечистым знаешься! Сидишь в темноте, бормочешь чё— то, глаза вон как угля горят. Тьфу на тебя! Короче так: ежели завтра к полудню не будет бабок — выметайся к чертям собачьим! На улицу! Прямо под мороз, со всеми своими рукописями погаными! Пушай твоя «Душа», о которой ты так сладко поешь, тебя и греет на перекрестке! Она резко повернулась на каблуках, собираясь уходить, но я остановил ее одним лишь тихим, но властным словом:

— Пойдите. Миссис Бэггот замерла, недовольно обернувшись через плечо. Я сделал шаг вперед, и далекий свет Вермонта, вновь вынырнувший из—за туч, озарил мое лицо — бледное и истощенное.— Вы правы в одном, — произнес я, глядя ей прямо в глаза, отчего она невольно поежилась и сделала полшага назад. — Завтра в полдень вы получите свои жалкие гроши. Но

помните: выгоняя человека на мороз ради бумажек, вы выгоняете не меня. Вы выгоняете из своего сердца остатки человечности.

Она открыла было рот, чтобы изрыгнуть очередное вульгарное ругательство, но слова застряли у нее в горле. Мой взгляд буквально раздавил ее мещанскую спесь. Ничего не ответив, она лишь злобно посмотрела на меня, громко фыркнула и вывалилась в коридор, с грохотом захлопнув за собой дверь. Я остался один. Мороз, оставленный ею, медленно расползлся по комнате, но внутри меня горело иное, неземное пламя.

Радоваться было абсолютно нечему. Хотя я и остался пока под этой протекающей крышей, понимание того, что завтра к полудню мне решительно нечем платить, овладевало мною, словно свирепый, звериный ужас. Время неумолимо истекало, и каждый часовой отзывался в моем виске погребальным звоном. Леденящий ветер с яростным свистом рвался сквозняком сквозь дряхлую деревянную раму, и этот невидимый гость, точно холодная, костлявая лапа самой Смерти, бесцеремонно гладил мое худощавое, измученное голодом тело. Я замерзал впотьмах, зная, что рассвет не принесет мне спасения — он лишь прольет свет на мою окончательную гибель.

## Глава 3

Утро застало меня в состоянии той зловещей ясности разума, какая бывает лишь у приговоренных к плахе за час до казни. Едва бледный, немощный луч зимнего солнца коснулся грязного потолка моей каморки, я понял, что оставаться в этом склепе больше невозможно. Голова раскалывалась от невыносимой, пульсирующей мигрени; казалось, тысячи крошечных демонов забивали ржавые гвозди прямо под мою черепную коробку. Превозмогая свинцовую тяжесть, я поднялся со своей кушетки, накинул поношенное пальто, чья ткань уже давно истончилась до состояния марли, и вышел на безжалостный мороз Вермонта. Город просыпался. Он умывался ледяной поземкой и дышал серым, удушливым дымом фабричных труб. Я шел по замерзшим, покрытым скользкой коркой наледи тротуарам, намеренно держась в тени величественных каменных фасадов местных купцов и чиновников. Как же омерзительны были мне их сытые, самодовольные лица! Эти господа почтенной наружности, укутанные в дорогие бобровые воротники, спешили в свои теплые конторы, на ходу подсчитывая копеечную выгоду и брезгливо огибая уличных попрошаек. Они казались мне ходячими мертвецами, чьи тела еще двигались по инерции, но души давно сгнили и превратились в прах, погребенные под тяжестью золотых монет.

Моей единственной целью в это проклятое утро была старая, покосившаяся аптека на углу Сент—Джонс стрит. Ее вывеска, покрытая слоем инея, едва заметно покачивалась на ржавых цепях, издавая унылый, надрывный скрип. Там, среди сотен стеклянных склянок с ядами и микстурами, обитал единственный человек, чье присутствие не вызывало во мне мгновенного приступа экзистенциальной тошноты.

Я толкнул тяжелую дубовую дверь. Жалобный звон маленького медного колокольчика возвестил о моем прибытии, и в нос мне ударил густой, дурманящий аромат сушеной ромашки, горькой полыни, спирта и тяжелого, лекарственного настоя. В глубине полутемного зала, за высокой лакированной конторкой, окруженный призрачным сиянием керосиновой лампы, стоял он. Мой единственный друг — Лукас. Он не принадлежал к числу тех холеных, лоснящихся от жира горожан, чьи силуэты я только что созерцал на проспектах Вермонта. Лукас был низок ростом, почти до болезненности мал, а его худоба могла бы поспорить с моей собственной: под поношенным шерстяным жилетом отчетливо угадывались острые ключицы, похожие на крылья пойманной птицы. Его черные как смоль, жесткие волосы были беспорядочно зачесаны назад, открывая высокий, изрезанный глубокими мученическими складками лоб мыслителя. Этот человек работал без отдыха, без сна, без права на передышку — кошмарные семь дней в неделю, круглый год, изнурая свою плоть ради того, чтобы просто удерживать на плаву эту полупустую аптеку, давно превратившуюся в его добровольную одиночную тюрьму.

Он поднял на меня глаза. В их темной, почти антрацитовый глубине горел тихий, лихорадочный огонь человека, который слишком много знает о страданиях других, чтобы обращать внимание на свои собственные. Вокруг его глаз залегли тяжелые, сизые тени — вечная печать бессонницы и изнурительного труда. Бледное, узкое лицо выражало глубокую, вековую усталость, но как только он узнал меня, на его тонких губах скользнула робкая, теплая улыбка, лишенная малейшего признака светского лицемерия.

— Крис... — его голос, тихий, с легкой хрипотой, прозвучал в пространстве аптеки как единственный живой звук посреди кладбищенской тишины. — На тебе лица нет, мой друг. Ты похож на призрак, который забыл вернуться в свою могилу до третьих петухов.

Я тяжело оперся о деревянный край конторки. Мои пальцы, посиневшие от январской стужи, судорожно вцепились в полированное дерево.

— Я и есть призрак, Лукас, — ответил я, чувствуя, как очередная волна пульсирующей боли ударила в затылок, заставив мир перед глазами на мгновение покачнуться. — Разница

лишь в том, что у истинных призраков нет этого проклятого, разлагающегося тела, которое требует тепла и пищи, и нет этой черепной коробки, в которой сейчас разворачивается локальный ад. Дай мне какое-нибудь успокаивающее средство, если твоя милость еще простирается на таких ничтожеств, как я. Мой разум предает меня. Лукас нахмурился. Он не стал суетиться, как это делают посредственные дураки при виде больного. Его движения были точны, медленны и исполнены какого-то священного автоматизма. Он повернулся к стене, уставленной бесконечными рядами темных стеклянных флаконов с латинскими надписями. На этих полках покоилась вся скорбь и все утешение Вермонта: здесь были порошки от чахотки, капли от сердечной жабы, яды, способные оборвать жизнь за секунду, и зелья, дарующие ложный, иллюзорный покой. Каждая склянка была запечатана сургучом, словно урна с прахом чьих-то надежд. Аптека Лукаса была настоящим храмом меланхолии. Старинные весы с медными чашами, застывшие в вечном, хрупком равновесии, казалось, взвешивали не крупички лекарств, а самую человеческую участь. В углу тихонько побулькивала стеклянная реторта, в которой перегонялся какой-то горький экстракт; капли падали на дно сосуда с мерным, зловещим звуком, напоминающим отсчет уходящих минут. Он снял с полки небольшой флакон из синего стекла, приготовил лекарство и протянул его мне. Вода окрасилась в мутный, молочно-опаловый цвет.

— Выпей, — тихо приказал он. — Это на время уймёт бурю в твоей голове. Но лекарства лишь маскируют симптомы, Крис. Они не способны излечить первопричину. Ты серьезно болен. Твоя лихорадка — это не просто простуда от вермонтских сквозняков. Это истощение. Твое тело пожирает само себя, потому что твоя душа отказывается давать ему пищу.

Я принял лекарство. На несколько минут боль отступила, но вместо облегчения пришла тяжелая, вязкая слабость, а мысли стали медленными и неясными.

— Первопричина моей болезни, Лукас, — произнес я, возвращая стакан и пристально глядя на его тонкие, покрытые химическими ожогами пальцы, — кроется в самом факте моего существования. Общество создало систему, в которой человек мыслит лишь тогда, когда он сыт. Но стоит ему опуститься за черту бедности, как его мысли объявляются безумием, а сам он — бракованным материалом. Наш мир — это гигантская давящая, где из миллионов живых сердец выжимают сухую, мертвую монету для нескольких избранных паразитов. Как я могу быть здоров в мире, который смертельно болен эгоизмом?

Лукас грустно вздохнул, убирая флакон обратно на полку. Он хромая подошел ближе — его правая нога была короче левой из-за детской травмы, и этот физический изъян придавал его фигуре еще больше трагического величия. Он уперся локтями в конторку и посмотрел мне прямо в душу.

— Ты слишком суров к миру, Кристиан, хотя мир, признаю, заслуживает твоей суровости. Но скажи мне правду: что произошло сегодня ночью? Я знаю этот взгляд. Такой взгляд бывает у людей, которые потеряли последний рубеж обороны.

— Старая крыса выставила мне ультиматум, — я усмехнулся. — Сегодня в полдень, когда стрелки часов сойдутся на двенадцати, я должен принести ей плату за четыре дня просрочки. Или мои рукописи, мое пальто и мои кости окажутся на вермонтской мостовой. Она приходила среди ночи. Знаешь, Лукас, эта женщина — идеальный образец человеческой эволюции. В ней нет ни грамма лишнего: ни сострадания, ни стыда, ни интеллекта. Только чистый, рафинированный инстинкт наживы. Она измеряет вселенную в центах. И самое страшное, что с точки зрения этого города она абсолютно права. Она — добродетельная христианка, посещающая церковь по воскресеньям, а я — безумный тунеядец. Лукас резко изменился в лице. Его бледные щеки на мгновение покрылись чахоточным румянцем, а пальцы судорожно сжались. Он бросил быстрый взгляд на ящик своей конторки, где под замком хранилась его скудная ночная выручка. Жалкая горсть серебряных и медных монет, ради которых он стоял на ногах двадцать четыре часа.

— Кристиан... — быстро, почти умоляюще заговорил он, приглушая голос. — У меня есть кое—что. Это немного, видит Бог, это почти все, что я выручил за неделю от продажи лекарственных настоек и грудных сборов этим проклятым богачам из центра. Здесь хватит, чтобы покрыть твой долг этой мегере и оплатить комнату еще на две недели вперед. Возьми их. Возьми сейчас же, пока полдень не наступил!

Я отпрянул от конторки так, словно он протянул мне не деньги, а раскаленное железо. Мое лицо исказилось в гримасе леденящего высокомерия.

— Никогда, — процедил я, и мой голос упал до зловещего шепота. — Никогда в жизни я не прикоснусь к твоим деньгам, Лукас. За кого ты меня принимаешь? За одного из тех жалких попрошаек, что ползают на коленях перед дверями банков? Или за тех аристократических выскочек, что живут за счет чужого пота?

— Но ты замерзнешь на улице! — воскликнул Лукас, и в его голосе впервые прорезалось отчаяние. — Это не гордость, это безрассудство! Ты умираешь от голода, твои легкие едва дышат, а через три часа у тебя не будет даже этого паршивого угла! Мои деньги — чистые, я заработал их своими руками, перетирая эти проклятые травы до кровавых мозолей!

— Именно поэтому я их и не возьму! — я ударил ладонью по конторке, и стеклянные флаконы за моей спиной отозвались тревожным звоном. — Именно потому, что они омыты твоей кровью, Лукас! Посмотри на себя! Ты работаешь семь дней в неделю, ты не видишь солнечного света, твои черные волосы седеют раньше времени, а твой рост и твоя худоба — это прямой результат того, что ты сам недоедаешь! Тебе самому нужны эти деньги, чтобы заплатить за аренду этой лавки, за новые поставки сырья, чтобы просто не сдохнуть под этой конторкой! Если я возьму у тебя хоть один цент, я стану точно такой же гиеной, как и все остальные. Я ограблю своего единственного друга ради того, чтобы продлить свое жалкое существование в загнивающей каморке еще на две недели? Какая ничтожная, трусливая сделка с совестью!

Лукас замолчал. Он опустил голову, и его длинные черные пряди упали на лицо, скрывая выражение его глаз. Когда он снова заговорил, его слог был взвешенным, глубоким и тяжелым, как могильная плита.

— Ты путаешь жертвенность с грабежом, Крис. Человечество выжило лишь потому, что слабые помогали слабым. Если бы мы все руководствовались твоим леденящим эгоизмом гордости, мир превратился бы в ледяную пустыню еще до пришествия Христа.

— Он и есть ледяная пустыня, — безжалостно парировал я, выпрямляясь во весь рост и глядя на него с высоты своего безумия. — Христианство принесло в мир красивую сказку о любви к ближнему, но люди превратили эту сказку в самый прибыльный товар. Они строят золоченые храмы на деньги, отобранные у вдов и сирот, а по воскресеньям замаливают там свои грехи, чтобы в понедельник с новой силой душить должников. Твоя жертвенность — это прекрасный цветок на помойке. Но один цветок не способен очистить весь этот смрад. Если я приму твою помощь, я признаю, что эта система имеет право на жизнь, что в ней есть место для жалости. Но в ней нет места для жалости! Есть только холодный расчет. И я предпочитаю погибнуть на морозе, оставшись верным себе, чем продлевать эту агонию за счет твоей жизни.

Лукас поднял голову. В его глазах не было обиды — там было лишь бесконечное, мудрое сострадание человека, который понимает всю глубину чужого падения.

— Твой ум, Кристиан, — это твое проклятие, — тихо произнес он, и его слова зазвучали с той библейской вескостью, какая бывает лишь у истинных пророков. — Ты возвел свою нищету в ранг культа. Ты думаешь, что, умирая от голода, ты наказываешь этот мир? Мир даже не заметит твоей смерти. Издатели Уэстфилда выпьют своего утреннего кофе, миссис Бэггот сдаст твою комнату новому несчастному через час после того, как твой труп увезут в общую могилу, а твои романы сгниют на свалке. Твой протест бесплоден. Он тешит лишь твое собственное, уязвленное эго. Ты утверждаешь, что совесть — это страх перед судом общества, цитируя своего Лоренса Вейна. Но твоя гордость — не есть ли это тот же самый страх? Ты

боишься показаться слабым в моих глазах, как и в своих собственных. Ты боишься принять любовь, потому что любовь обязывает, а ты хочешь оставаться абсолютно свободным в своей ненависти.

Эти слова попали в цель. Лекарство уже тяжело сказывалось на моем состоянии, приглушая боль в висках и делая мысли вязкими, но слова Лукаса заставили мое сердце сжаться от яростной, сухой судороги. Он был прав. Он был слишком умен для этого захолюстья, этот хромой черноволосый червь из аптеки. Он видел меня насквозь.

— Пусть так, — глухо ответил я, отводя взгляд в окно, где за мутным стеклом кружились белые хлопья метели. — Пусть это будет эгоизм. Но это единственный щит, который у меня остался. Если я разобью и его, от меня не останется ничего. Я не хочу вашей любви, друг, потому что человеческая любовь преходяща и фальшива. Сегодня они любят тебя, потому что ты им удобен, а завтра швыряют в грязь. Единственное существо, чья любовь была абсолютной и не требовала взамен никаких контрактов, была Джесси. Но её больше нет. Ее закопали под старым тополем, и вместе с ней в эту землю ушла последняя капля моей веры в то, что в этом мире есть хоть что-то чистое. Все остальное — сделка. Все остальное — рынок.

Наступила долгая, гнетущая пауза. В тишине аптеки было слышно только, как за стеной подбивает ветер, да как потрескивает фитиль в керосиновой лампе, отбрасывая длинные, уродливые тени на бревенчатые стены. Лукас долго смотрел на меня, перебирая пальцами какие-то сухие корни в ящике. На его лице отражалась тяжелая, мучительная работа мысли. Он искал выход. Он знал, что спорить со мной словами — все равно что пытаться пробить каменную стену лбом. Мой разум находил контраргумент на любую человеческую истину. Наконец он выдохнул. Его плечи опустились, словно он принял какое-то фатальное решение. Он выпрямился, залез рукой в карман своего старого жилета и медленно выудил оттуда предмет. Это были карманные часы. Старые, в потертom серебряном корпусе, подвешенные на простой стальной цепочке вместо золотой. Часы были не из дорогих, но по их виду было件нятно, что ими дорожили: серебро было отполировано до блеска, а на задней крышке виднелась едва различимая, стертая временем гравировка.

— Хорошо... — тихо, но твердо сказал Лукас, кладя часы на полированное дерево конторки прямо между нами. — Ты не возьмешь у меня деньги. Твоя гордость не позволяет тебе принять дар от друга. Ты считаешь это грабежом. Что ж... Тогда давай поступим по законам твоего любимого рынка. По законам этого циничного мира, где все имеет свою цену.

Я недоверчиво посмотрел на часы. Они мерно, сухо тикали: тик-так, тик-так, отсчитывая секунды, приближающие полдень. Настоящий хронометр судьбы.

— Что это? — спросил я, нахмурившись.

— Это часы моего отца, — спокойно ответил Лукас, и в его черных глазах мелькнула глубокая, затаенная боль. — Единственная вещь, которая осталась у меня в память о доме, который я покинул мальчишкой. Они идут безупречно. Хранитель конторы старьевщика на Главной улице, старый еврей Соломон, давно заглядывается на них. Он предлагал мне за них сумму, которой с лихвой хватит не только на твой долг Бэггот, но и на то, чтобы купить тебе новое, теплое пальто и приличную еду на месяц вперед.

— И ты предлагаешь мне заложить их? — я почувствовал, как волна омерзения снова подступила к моему горлу. — Ты безумен, Лукас! Ты предлагаешь мне продать память о твоём отце ради того, чтобы оплатить конуру у этой старой ведьмы?

— Нет, Крис, ты не понял, — пододвинув часы ближе ко мне, его палец уперся в холодное серебро. — Я не предлагаю тебе заложить их. Я предлагаю тебе взять их. Возьми их как заем. Или как товар. Отнеси их Соломону сам. Сделай это не как нищий, принимающий милостыню, а как делец, совершающий сделку. Ты ведь так ценишь законы рынка? Вот тебе рынок. Эти часы теперь твои. Ты отдашь мне долг тогда, когда твой великий роман «Сотни рук» будет напечатан, и эти сытые свиньи из Уэстфилда приползут к тебе на коленях, умоляя продать им

авторские права. Если ты откажешься сейчас, ты откажешься не от моих денег. Ты откажешься от веры в свой собственный разум. Ты признаешь, что твоя книга никогда не будет издана, и что ты — действительно просто тунеядец, готовый сдохнуть в канаве из-за своего упрямства.

Я замер. Мерное тиканье отцовских часов Лукаса казалось мне теперь оглушительным, словно удары колокола. Этот хромо́й аптекарь переиграл меня на моем собственном поле. Он облек свою высшую, чистейшую любовь и жертвенность в форму циничной рыночной сделки, зная, что только так он сможет пробить панцирь моего высокомерия. Я смотрел на серебряный кругляк, лежащий на конторке. В его отражении бледные лучи вермонтского солнца казались холодными искрами. Внутри меня разыгралась яростная, лихорадочная буря. Мой разум кричал, что это ловушка, что это та же милостыня, только прикрытая вуалью коммерции. Но мое замерзающее, истощенное тело и моя Душа, жаждущая выпустить «Сотни рук» в свет, ухватились за этот шанс, как утопающий за соломинку.

До полудня оставалось два часа. Я смотрел на серебряный кругляк, лежащий на конторке. Он тикал, как сердце, выставленное на продажу. Внутри меня шла яростная, лихорадочная буря, но лекарство уже усиливало странную отрешенность и затуманивало способность ясно оценивать последствия.

— Хорошо, Лукас, — тихо, но отчетливо произнес я, и моя рука, словно чужая, медленно опустилась на холодный металл часов. Цепочка змеей скользнула по моим пальцам. — Я возьму их. Но не как милостыню. Я беру их как вызов, который ты бросил мне. Посмотрим, чья правда окажется сильнее на весах этого города.

Лукас облегченно улыбнулся, хотя в его глазах по—прежнему стояла глубокая, затаенная грусть. Он кивнул, не говоря больше ни слова. Ему не нужны были клятвы и расписки; он знал, что моя гордость — самый надежный залог во вселенной. Я спрятал часы в глубокий карман своего истончившегося пальто, чувствуя их мерную, чужую пульсацию у самого бедра, и резко развернулся. Медный колокольчик над дубовой дверью снова жалобно звякнул, выпуская меня обратно в ледяное чрево Вермонта. На часах оставалось немногим более полутора часов до того момента, как миссис Бэггот потребует свой фунт плоти.

## Глава 4

Главная улица города встречала меня триумфальным, ослепительным великолепием январского полдня. Тем самым вульгарным блеском, которым сытая цивилизация пытается прикрыть свое внутреннее разложение. Белоснежный саван, который в моих трущобах казался грязной тряпкой на теле мертвеца, здесь, перед зеркальными витринами пассажиров, был вычищен до безупречности и сверкал, точно россыпь бриллиантов на шее стареющей блудницы. Хрустальный воздух был напоен ароматами дорогой сигаретной смолы, свежего кофе и удушливо—сладких духов, которые оставляли за собой дамы, укутанные в соболиные меха.

Я шел к лавке Соломона, сжимая в кармане серебряные часы Лукаса, но с каждым шагом мои ноги наливались свинцом. Мрачное пророчество хромого аптекаря о бесплодности моего протеста эхом отзывалось в сознании, превращаясь в изощренную пытку. Прямо перед входом в антикварный салон, у витрины, заставленной начищенной утварью и фарфоровыми безделушками, стояла группа молодых людей. Это были золотые мальчики Вермонта, напыщенные мажоры нашей бесстыдной эпохи — ничтожные наследники фабричных магнатов и судей. Облаченные в безупречные суконные пальто с бобровыми воротниками, обутые в лакированные штиблеты, ни разу не оскверненные грязью трущоб, они носили свои шелковые цилиндры так, словно те были коронами. Они смеялись. Этот смех — сытый, пустой, звенящий животным удовольствием существ, чей желудок никогда не ведал голода, — вонзался в мой мозг осколками льда. Один из них, с белокурыми локонами и порочным, холеным лицом херувима, что—то весело рассказывал, жестикулируя тонкой рукой в белоснежной лайковой перчатке. В его пальцах дымилась гаванская сигара, и он небрежно стряхивал пепел прямо на сапог нищего старика, сидевшего у подножия фонарного столба. Его спутница, барышня с фарфоровым лицом куклы, заливалась кокетливым, напевным смехом, прижимаясь к его плечу. Я замер, укрывшись в тени раскидистого карниза. Мой желудок сжался от очередной судороги, а пальцы онемели. На мгновение — о, какое мимолетное, позорное мгновение! — в моей измученной груди вспыхнуло то, что обыватели называют завистью. Мой разум лихорадочно содрогнулся от жгучего желания оказаться на их месте. Мне подумалось: «За какое святотатство я обречен на этот ад? Как горько обладать умом, способным созерцать устройство вселенной, и стоять здесь в рваном пальто, пока эти бездушные манекены упиваются жизнью?» Я смотрел на них и верил: будь я богат, будь у меня хотя бы сотая часть их капитала, я бы никогда не стал одним из этих черствых изваяний. Я бы помнил каждый день своего голода. Я бы согрел каждого замерзающего ребенка, я бы спас каждую беззащитную собаку на перекрестках этого проклятого мира! Я бы не позволил золоту задушить мою душу... Я не знал тогда, какая страшная, ироничная ложь кроется в этих мыслях. Мой разум еще не ведал, что золото обладает своим собственным ядом, способным растворить даже самую благородную плоть. Я не предвидел, что очень скоро я сам по горло утону в этом сияющем болоте, прежде чем одумаюсь. Но сейчас, глядя на холеного юношу, я перевел взгляд на свою руку, сжимающую часы Лукаса. Серебряный корпус мерно тикал, и в этом сухом звуке мне послышался голос самого аптекаря: «Ты продаешь память о моем отце...» Внезапно леденящее прозрение пронзило меня. Я осознал всю бездну низости, к которой подталкивал меня этот город. Я пришел сюда, чтобы предать святыню единственного человека, разделившего со мной хлеб, ради того, чтобы ублажить Бэггот и продлить на две недели свое ничтожное существование. Я собирался добровольно стать винтиком в этой коммерческой давилльне. Я уподобился бы этим сытым свиньям, торгующим чужой кровью. — Нет, — произнес я, и этот звук затерялся в грохоте проезжавшего мимо роскошного экипажа. — Моя нищета — это мой манифест. Моя гордость — единственное, что у меня нельзя купить. Я резко развернулся, спиной чувствуя удивленные, брезгливые взгляды

молодых богачей, заметивших оборванца, и пошел прочь от лавки оценщика. Я не сдам эти часы. Пусть полдень приходит. Пусть Бэггот выбрасывает меня на мороз.

Мысли мои, подстегнутые лекарственным средством и подступающим лихорадочным бредом, уносились в космические, надмирные выси. Я шел, не разбирая дороги, и в моем сознании разворачивался грандиозный, саркастический трибунал над человечеством и его Богом... Я ведь никогда не верил в Него. Для моего ума концепция доброго, всеблагого Создателя всегда казалась нелепой детской сказкой, придуманной трусами, чтобы не сойти с ума от ужаса перед бездной небытия. Люди — эти жалкие, копошащиеся в грязи существа — совершили величайший подлог в истории. Это они создали Бога по своему образу и подобию, наделив Его всеми своими низменными пороками — тщеславием, жестокостью и ненасытной жадой рабского поклонения. И я сам... О, я признаюсь перед лицом этой замерзающей вселенной: все те редкие моменты, когда в минуты крайнего отчаяния я взывал к Небу, были лишь минутами трусости. Я просто пытался сбросить груз собственной ответственности на вымышленного Абсолюта. Как это удобно! Совершить подлость в своем гнусном, порочном земном пути, святотатственно растоптать в себе последние крохи человечности, а потом упасть на колени перед алтарем и заскулить: «Прости меня, Господи, на то была воля Твоя!»

Человеческое стадо ничтожно в своей массе. Если поставить перед людьми ведро, до краев наполненное ржавыми, острыми — точь-в-точь как их собственные сердца — гвоздями, и сказать им, что это ведро есть новый грозный Бог, карающий за малейшую провинность, они тут же падут ниц! Они начнут истово молиться этому ржавому железу, они станут строить ему храмы и приносить в жертву своих братьев, лишь бы не быть виноватыми в своей собственной гнусной жизни. Лишь бы переложить вину за свои страдания и свою глупость на безмолвного идола. Религия — это лишь страх перед судом собственной пустоты. Бога нет, есть только слепая, бесчувственная материя, пожирающая саму себя под аккомпанемент человеческих стонов. Ноги сами привели меня в заброшенный сквер на окраине. Здесь не было веселящихся мажоров; здесь царило безмолвие смерти. Метель усиливалась, белые хлопья кружились в безумном танце, укрывая деревья пушистыми шапками. Я подошел к огромному, вековому дубу, протянувший свои узловатые ветви к свинцовому небу. Под ним стояла ледяная, занесенная снегом скамейка. Очистив ее край обшлагом поношенного рукава, я в изнеможении опустился на холодные доски. Силы окончательно покинули меня. Болезнь жгла мое нутро, а тело постепенно немело от холода и истощения. Я поднял глаза и посмотрел на ствол величественного дерева. Там, где кора треснула от многолетних морозов и старости, глубокие черные борозды образовали идеальную, отчетливую форму креста. Мрачное распятие, сотворенное самой природой. Я хрипло, безумно усмехнулся. Лекарство лишь ненадолго затуманило страх и подарило ложное ощущение ясности. Я посмотрел на этот естественный крест и заговорил: — Что ж... Великий Режиссер, если Ты все же существуешь там, за этой пеленой снегов... Погляди на меня. Твое дитя умирает на Твоем празднике жизни, пока сытые свиньи жрут Твой хлеб. Я не прошу у Тебя жалости, я не ползаю на коленях, как эти глупцы перед ведром ржавых гвоздей. Но дай мне... дай мне хоть какой-то шанс. Сделай свой ход в этой игре, если Ты не трус. Я протянул замерзающие, посиневшие руки к небу, и на моих губах заиграла леденящая улыбка: — Лишь Твои дары — дары слепого фатума — я готов принять сейчас, потому что я, как-никак, Твое творение, пусть и дефектное. Дай мне денег, Господи. Осыпь меня этим проклятым золотом, которым Твои преданные слуги торгуют в храмах. Дай мне богатство, и я докажу Тебе и Твоему рогатому противнику, что не все люди — гниль. Я покажу Тебе, как нужно распоряжаться Твоей силой, не теряя Души. Испытай меня золотом, если Тебе хватит смелости... Дай мне денег, и я переверну эту вашу землю.

Мой голос затих. Ветер подхватил эти кощунственные слова и унес их в белое небо. Глаза мои начали неудержимо закрываться. Холод больше не казался врагом; он мягко баюкал меня, погружая в глубокий, лихорадочный сон.

## Глава 5

Тьма отступала нехотя, точно болотная жижа, неохотно выпускающая свою распластанную жертву обратно на сухой берег. Мое возвращение в мир живых было лишено триумфа; оно походило на медленное, мучительное протрезвление. Первое, что вернулось ко мне, было не зрение и даже не память, а запахи — густые, удушливые, заполняющие все мое существо до самых потаенных глубин легких. Пахло высушенной до хруста полынью, резким спиртовым духом, уксусом, сожженным фитилем и тем самым сладковато-тяжелым, усыпляющим лекарственным средством, который стирал грани между бытием и небытием, превращая человеческие мысли в ленивых, бесформенных чудовищ. Я открыл глаза. Мир вокруг качался и плыл, точно палуба тонущего брига в густом осеннем тумане. Вместо привычного гнилого потолка моей каморки, покрытого сеткой трещин и паутины, надо мной нависали тяжелые, потемневшие от времени дубовые балки. С них свисали пучки засохших трав, похожие в полумраке на скрюченные лапы доисторических птиц или на отрубленные крылья летучих мышей. Прямо перед моим лицом, на расстоянии вытянутой руки, колыхалось призрачное, золотистое пламя керосиновой лампы, чей стеклянный колпак покрылся серой копотью.

— Слава Всевышнему, ты очнулся... — этот голос донесся откуда-то из-за пределов моего сузившегося сознания, глухой, прерывистый, дрожащий от непереносимого, почти рабского облегчения.

Туман в моих глазах неохотно рассеялся, и я наконец разглядел бледное, истощенное лицо Лукаса. Его черные растрепанные волосы, мокрые от растаявшего снега, отливали вороновым крылом в колеблющемся свете лампы, а вокруг глаз залегли такие глубокие, сизые тени, словно он сам только что восстал из могилы, в которую меня так опрометчиво уложил мороз. Он улыбался — той робкой, чистой, невыносимо человеческой улыбкой, от которой мне всегда становилось не по себе, ибо она обличала мою собственную неспособность любить этот мир.

— Я пошел за тобой, Кристиан... — быстро, захлебываясь словами, заговорил аптекарь, и его худые, покрытые химическими ожогами руки судорожно задвигались над конторкой, перебирая склянки. — Сердце было не на месте, понимаешь? Прошло всего минут пятнадцать, как ты выскочил из аптеки, а меня словно черти начали колоть раскаленными вилами. Я не смог сидеть на месте. Закрыв лавку на засов, наплевал на покупателей и побежал по твоим следам. Метель была страшная, белая стена, ничего не видно на расстоянии вытянутой руки! Я едва не разминулся с тобой в том заброшенном сквере... Ты лежал на скамейке под дубом, тебя уже наполовину засыпало снегом, Кристиан! Ты был похож на мраморное изваяние на фамильном склепе. Еще бы четверть часа — и лекарственное средство довершил бы то, что начал мороз. Твое сердце едва билось. Я притащил тебя сюда на себе, волоча свою проклятую ногу. Ты спал пять часов без просыпа, в глубоком беспомыслии. Вот, выпей это, немедленно, это вернет тепло в твои жилы! Лукас протянул мне граненый стакан с какой-то темной, дымящейся жидкостью, от которой шел резкий запах имбиря и гвоздики, а рядом на жестяное блюдечко высыпал целую гору порошков в аптечной бумаге. Я молчал. Настоящая, свинцовая тишина сковала мой язык, словно мороз Вермонта навсегда заморозил мои голосовые связки. Мой разум, всегда готовый изрыгать леденящие, безупречные афоризмы, сейчас казался выжженной, бесплодной пустыней, по которой гулял лишь холодный ветер. Я понимал, что не в силах соткать даже простейшую, примитивную мысль. Весь мой разум растворился в этой удушливой аптечной каморке. Я вяло, с трудом повернул голову, обводя глазами комнату: шкафы с латинскими надписями, весы, реторты, пузатые банки... Все это казалось мне чужими, бессмысленными декорациями из чужого спектакля, в котором я по ошибке согласился сыграть роль. Локальное пространство потеряло для меня всякие координаты.

— Где я?... — хрипло, едва разлепив спекшиеся, покрытые кровавыми трещинами губы, выговорил я. Мой собственный голос показался мне чужим, глухим звуком, донесшимся со дна глубокого колодца. Лукас замер, и в его темных глазах промелькнуло искреннее недоумение, смешанное с липким, первобытным испугом за мое ментальное здоровье.

— Кристиан, опомнись, ты в моей аптеке, в каморке за конторкой... — он осторожно коснулся моего лба своей холодной ладонью. — Ты что, действительно не узнаешь этого места? Ты ведь бывал здесь сотни раз, мы просиживали тут ночи напролет, споря о твоём романе. Это я, Лукас, твой друг. Ты в безопасности, слышишь? В тепле.

Я не ответил. Сил на осознание реальности не было. Я лишь глубже, с каким-то животным отчаянием зарылся под тяжелое, пахнущее овечьей шерстью и сыростью одеяло, которым он меня укутал. Тело мое было слабым, как размокшая под дождем бумага; малейшее движение отзывалось тупой, изнуряющей болью в позвоночнике. Девять часов абсолютного беспмятства не вернули мне сил, они лишь подчеркнули убожество моего возвращения в этот мир людей, от которого я так изящно пытался сбежать.

— Я ходил к твоей хозяйке, — тише добавил Лукас, видя мое оцепенение, и опустил глаза, словно чувствуя вину за то, что продлил мои земные страдания. — Полдень давно прошел, пока ты лежал здесь в бреду. Я знал, что Бэггот выполнит свою угрозу и выбросит твои вещи в сугроб, поэтому я сделал то, что должен был. Я взял те самые деньги моего отца, которые мне выплатил Соломон за часы и отдал ей весь твой долг. Я оплатил твою комнату на две недели вперед, Кристиан. Она... миссис Бэггот... она действительно совершенно лишена ума, сострадания и всего человеческого. Злюка, сушая мегера, в чьих жилах течет не кровь, а расплавленный свинец. Она долго кричала на меня, топала своими грязными башмаками, швыряла мне в лицо твои черновики, называя нас обоих тунеядцами и богохульниками, но золото... золото быстро заткнуло ее зловонную пасть. Теперь у тебя есть крыша над головой. Ты можешь вернуться в свой угол, когда окрепнешь. В глубине моего угасающего, отравленного лекарствами естества вспыхнула искра яростной, сухой и ядовитой злобы.

— Не стоило этого делать... — прохрипел я, пытаюсь приподняться на локтях, отчего одеяло сползло, обнажив мою худую, обтянутую бледной кожей шею. — Зачем ты это сделал, Лукас? Зачем ты сломал мою сделку с Небом? Кто просил тебя спасти мою ничтожную плоть и пачкать руки о Бэггот? Ты продал память о своем отце ради того, чтобы я еще две недели созерцал паутину на потолке? Какое глупое малодушие.

Но у меня не было сил на эти споры. Слова застряли в горле вместе с тяжелым, сухим кашлем, который отзывался болью в ребрах. Голова снова налилась свинцом, глаза закрылись сами собой, и мир вокруг подернулся серой дымкой небытия. Я бессильно рухнул обратно на жесткую аптечную подушку и снова уснул, уходя во тьму еще на три кошмарных, бездонных часа, где мне снились огромные рыжие псы, бегущие по мраморным залам Уэстфилда.

Когда я открыл глаза во второй раз, лампа на конторке уже не горела. В маленькое, заиндевевшее окошко каморки пробивался тусклый, грязный свет угасающего январского дня — те самые предсмертные сумерки, которые я так любил описывать в своих рассказах. Лихорадка немного отступила, оставив после себя лишь глухую, ноющую боль в суставах и леденящую пустоту в желудке. Я медленно поднялся с кушетки. Лукаса в каморке не было. Из торгового зала доносился ритмичный, тихий стук его фарфоровой ступки, в которой он перетирал очередную порцию каких-то горьких кореньев для сытых обывателей. Я не стал с ним прощаться. Моя гордость не вынесла бы еще одного разговора, еще одного взгляда, полного этого христианского, рабского сострадания. Раз уж все оплачено, раз деньги Лукаса уже перекочевали в бездонный карман старой ведьмы и ничего невозможно изменить, мне оставалось только одно — вернуться в свой склеп и продолжить свое безмолвное увядание.

Я тихо приоткрыл заднюю дверь и вышел на улицу. Вермонт увядал в сумерках, как увядает смертельно больной старик в пустой комнате. Городские пейзажи казались мне серыми,

зловещими гравюрами из старинной книги о чистилище. По мостовым, покрытым грязной, бурой снежной кашей вперемешку с конским навозом и угольной пылью, текли серые потоки безликого, равнодушного общества. Мужчины в поношенных пальто неопределенного цвета, мелкие торговцы с воспаленными от холода красными носами, клерки с портфелями — все они спешили к своим убогим очагам, пряча лица в воротники и упорно не глядя по сторонам, словно боялись увидеть в глазах встречных отражение собственной нищеты. Это общество двигалось по инерции, механически, как куклы в грошовом автомате на ярмарке. Какая невыносимая, удушающая тоска... Ни одной живой мысли, ни одного взгляда, устремленного к небу. Только вечная, животная забота о куске хлеба и теплой конуре. Кое—как бредя вдоль каменно-холодных, покрытых копотью фасадов, преодолевая дрожь в коленях, я наконец дотащился до своего доходного дома. Эта трехэтажная деревянная махина с прогнившими перекрытиями встретила меня своим привычным, затхлым запахом. Уже на темной лестнице, где никогда не горели лампы, а воздух был напоен ароматами кислой капусты, дешевого табака и сырости, я услышал знакомый, визгливый голос, от которого у меня внутри все перевернулось. Миссис Бэггот была верна своей шакальей природе. Опираясь о шаткие перила площадки второго этажа, она яростно, с пеной у рта трясла остатки денег с какого—то другого жильца, не успевшего вовремя внести плату. Это был грузный, приземистый мужчина средних лет, типичный представитель того самого бессловесного рабочего скота, на котором держалась вся индустрия Вермонта. На нем был рваный, покрытый пятнами мазута рабочий фартук поверх линялой фланелевой рубахи, его засаленные волосы висели грязными сосульками, а лицо было серым, землистым от хронической усталости, недосыпа и дешевого, вонючего табака. Он стоял перед хозяйкой, виновато опустив плечи, и судорожно мял в широких, покрытых мозолями ладонях свой засаленный суконный картуз, словно этот кусок тряпки мог защитить его от словесного града.

— Ты мне брось эти свои сказки про задержку на заводе, Билли! — визжала Бэггот, тыча в его широкую грудь своим костлявым, пожелтевшим пальцем. — Мне твой хозяин—капиталист не указ! Мне налоги платить надо, уголь покупать надо! Ежели завтра утром не принесешь два шиллинга — выметайся вслед за тем сумасшедшим писателишкой, ублюдок!

При виде меня они оба мгновенно замолкли, словно наткнулись на выходца с того света. Ругань оборвалась на полуслове, повиснув в сыром воздухе лестничной клетки удушливым облаком. Хозяйка смерила меня тяжелым, подозрительным и злым взглядом. В ее заплывших глазах удивление мешалось с досадой — она явно не ожидала увидеть меня живым и на ногах после того, как Лукас утащил мое полумертвое тело из парка. Рабочий Билли тоже поднял на меня свои тупые, полные коровьего, рабского смирения глаза, в которых читалось лишь одно желание — чтобы эта ведьма переключила свою ярость на кого—то другого.

Я прошел между ними. Я не опустил головы, я нес свой бледный, истощенный лик с тем самым аристократическим, уничтожающим презрением, которое всегда бесило и пугало этих мещан. Я шел так, словно эти двое были лишь кусками грязной ветоши, брошенными на моем пути. Я физически чувствовал, как их тяжелые, липкие и враждебные взгляды провожают мою согнутую спину до самой двери моей каморки. Стоило мне зайти внутрь и с глухим, дребезжащим стуком хлопнуть за собой дверь на хлипкую щеколду, как за стеной, на лестнице, с новой, утроенной силой возобновилась яростная ругань. Старая карга с еще большим остервенением принялась вколачивать свои центы в беззащитную плоть несчастного рабочего, вымещая на нем злость за то, что я посмел вернуться. В этом душном, грязном шуме, который проникал сквозь тонкие щели в стене, я медленно подошел к своему деревянному столу с прогнившими ножками. Там, посреди серой, жирной пыли, лежала моя рукопись. Я сел на колченогий стул, который жалобно скрипнул под моим весом, и долго, неподвижно смотрел на заглавный лист, исписанный моим неровным, лихорадочным почерком. Мысли мои, мутные

после лекарства и отравленные тяжестью возвращения, потекли по извилистому, мрачному руслу экзистенциального тупика.

Почему я не умер? Почему этот хромой, простодушный дурак Лукас пошел за мной в метель? Неужели этой слепой вселенной было так трудно дать мне исчезнуть под тем вековым дубом, у природного креста? Я впервые понял, насколько опасно близко подошел к краю. Мне казалось, что жизнь превратилась в бесконечную пытку бытием: каждое утро требовало от меня новых сил, которых во мне почти не осталось. Я видел вокруг себя голод, холод, унижение и человеческую жестокость и потому легко подменял усталостью от жизни убеждение, будто самой жизни больше не за что держаться. Но именно в этот момент меня напугала другая мысль: если я исчезну, исчезнет и возможность когда-нибудь изменить хоть что-нибудь. Я стоял перед пустотой собственного сознания и впервые не находил в ней ни величия, ни свободы — только страшную, холодную потерю.

В какой—то момент я поймал себя на темной мысли о том, чтобы перестать существовать. Разум, измученный болезнью и голодом, пытался представить смерть как окончательное избавление от боли. Но чем дольше я всматривался в эту мысль, тем яснее понимал ее пустоту. Я не хотел становиться красивой легендой о погибшем писателе; я хотел, чтобы моя история имела продолжение. В ту ночь мне было страшно от самого себя. Я уже не различал, где заканчивается отчаяние и начинается холодная логика болезни. Я представлял только одно — исчезновение, тишину и прекращение мучений, но теперь эта перспектива не казалась мне ни прекрасной, ни возвышенной. Она выглядела окончательной пустотой, которая навсегда лишила бы меня возможности увидеть, чем закончится моя рукопись, встретить Лукаса и понять, были ли в моей жизни хоть какой-то смысл. Я закрыл глаза и попытался вытеснить эту мысль.

В этот момент на лестнице раздались шаги. Ругань Бэггот и стоны рабочего Билли оборвались так резко, словно им обоим перерезали горло. Наступила внезапная, звенящая, вакуумная тишина, от которой у меня заложило уши.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.